

Юрий ГУДУМАК

Юрий Гудумак родился в 1964 году в селе Яблони Глодянского района Молдавии. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор восьми поэтических книг. Стихи переводились на английский и румынский языки. Публикации в литературных изданиях «Волга», «Новая Юность», «Литература», «TextOnly», «Воздух», «“Цирк «Олимп”+TV», «L5», «Полтона», «Новый Берег», «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки» и др.

PHARMACON

Физическое учение о росе

В том октябре, мама,
здоровье твое
стало угрожающим образом ухудшаться.
Медленно, но непрерывно,
жизнь покидала тебя.
Но именно потому,
что ты не оставляла надежды поправиться –
ты ведь так не хотела расстраивать нас, –
предстоящую смерть я оплакивал больше,
чем саму смерть.

Болезнь
не решались называть по имени.

Ее можно было бы называть, в принципе,
«лист крушины»... Или – «цветок безвременника»...

В подобных случаях врачи прописывают терпение.

Не в силах подавить слёзы,
я ринулся очертя голову в осень,
презирая то,
что более для тебя не существовало.

Прохожие шарахались в стороны, недоумевая.
Как подкошенный, сраженный отчаянием,
я чуть не бежал.
Я и сам не помнил, кто я.
Возвратившийся из царства мертвых пьяница?
Славный испытатель естества, отдавший инстинкту
невидимой Мнемозины – бабочки, не знающей,
к какому цветку прильнуть?
Просто обуреваемый ветрами?

Последние теплые дни
потом взаправду сменились ненастьем

с холодом, слякотью и ветрами.

А зимою тебя не стало.

Воздух запредельных зимних пространств
наступает на нас треугольным клином
самородного нашатыря.
Но и сейчас, два года спустя,
очнуться на мгновение от дурноты –
недостаточно для того, чтобы привести себя в состояние
употребить на что-то еще весну.

По распознанным мною
сухим экземплярам растений
я еще помню,
как в зеленый синят из желтого.
Физическое учение о росе,
о котором талдычит вечер,
в грубых,
сподручных моим понятиям формах объясняет,
сколько нужно иметь флегмы,
чтобы покрыться ею.

В руках я держу
старый потрепанный паспорт
деда Боровского, твоего отца,
выданный ему уже в далеком от нас
79-м, лишь незадолго до смерти,
очевидно –
чтобы куда-нибудь да приткнуть
этого неугомонного странника,
и потому – более чем понятно –
после смерти
не востребованный обратно.

На одной из страниц,
помеченных серией VIII-БМ № 567322,
я сумел разобрать твой почерк:

*23 октября 2009 года
...Анальгин, димедрол
4. Таблетки 1×2 раза
промедол (тримеперидин)
(утром и вечером)*

Зерна пыльцы

Если и вправду
мы мыслим время как однородную величину
в силу смешения конкретной длительности
с пространством – действительно однородной величиной,

то однородной как совокупность мест
нашего в нем отсутствия.
Собственно, этим пространство
только и может еще вызывать интерес
у (меня как) географа.
А наше сельское кладбище –
по нынешним меркам, впрочем, весьма просторное –
как для фешенебельных смертных –
оказывается к тому же
и самым гостеприимным.

Конечно,
дело не в недостатках памяти.

С годами
воспоминания о тебе
искажаются этой бессущностной,
как ее ни кромсай на календари, однородной длительностью,
отделяющей те события от момента их изложения здесь,
как лицо – гримасою скорби.

И речь даже не о звездообразных пучках
кожных складок – «гусиных лапках» – у края глаз
или выцветании радужной оболочки глаза
и прибавлении седины,
а о самом по себе колоссальном –
вертикально-клинообразном –
вытягивании лицевого скелета
вследствие чрезвычайного развития
такого рода мимической мускулатуры.
Плюс нижняя челюсть
гигантской белки посягающего сухарями
могла бы порадовать (меня как) зоолога.

Вот по крайней мере то,
что требовалось доказать.
Хотя бы уже потому, что лицо растет
в течение более продолжительного периода, чем череп,
и может подвергаться различным влияниям
позднее, чем последний.

Тем более –
если отсчитывать от того рахитичного деревца,
каким я рос в детстве.

Поначалу,
чего тут скрывать,
у меня не получался даже крик радости или ужаса,
с которым появляются на свет дети.
И первый признак жизни ребенка,
я знаю это с твоих слов,
походил на беззвучный плач.

Теперь я уже не удивляюсь тому,
что рано начавшая развиваться
физиогномическая особенность
стоит значительно ближе к ископаемым видам
на старых фамильных фотографиях дедушкиных времен, –
но первая, столь затрудненная попытка дыхания
должна была, естественным образом,
иметь единственный,
тот же, смысл.
Понятное на всех языках «ма-ма»
не требует перевода. Как не требует перевода
«шют-шют» зяблика,
«пиик» зимородка.

До сих пор
я хочу тебе что-то сказать.
И тем самым – искупить
прежнее то молчание.
Даже распутившийся после зимы первоцвет,
даже несколько зерен пыльцы
существуют не для того, чтобы утишить боль,
но вытрясти из меня неведомые признания.
Как озноб или лихорадка.

Трактат о свете

К тому,
чего я коснулся сейчас,
я должен был перейти
лет через тридцать.
Из них последние пять
я оставил бы за собой для того,
чтобы подготовить свой ум к невозможному.
Потом, как минимум, столько же
употребил на осознание того,
как с этим жить.
Но и тогда бы
мысль о твоей преждевременной смерти
должна была изогнуть себя
в странной судороге.

Изнуренный долгою зимой,
я мог бы вполне допустить,
что так старик подает еще признаки жизни,
покамест температура мышц,
влияя на скорость их сокращения,
не достигнет значений, достаточных для того,
чтобы удерживать в мерзлых пальцах перо.

Солнце,
как испорченное вино,

плохо разжижает кровь.
И к написанию этого трактата о свете
меня подвигает скорее убежденность в необходимости
(для кого? для чего?), чем ощущение способности
выполнить такой непосильный труд.

Холод действует
на недостаточно согретого и накормленного
совершенно так же, как голод,
и уже теперь
превращает меня в старика.

При том что все прочие чувства,
слух, обоняние, вкус
и даже общая чувствительность
в старости притупляются,
не ведая дат,
я все же еще различаю дни:
не иначе чем
зрительный нерв ощущает не боль,
а ослепительный свет.

Резкое уменьшение
потребности в пище и обмене веществ –
так клали умершему в рот сырое зерно –
физиологически можно было бы объяснить
низкой облачностью и мрачной погодой,
пребыванием в темноте без огня
долгими зимними вечерами,
или, соображаясь с данностью, –
интенсивными умственными отвлечениями и картинами –
вроде того как наиболее эволюционно продвинутый цветок
отмеряет фотопериоды.

Еще того проще –
но надо ли? –
его можно было бы объяснить болезнью,
о которой предосторожность воспрещает мне
говорить.

Без тебя,
мама,
я чувствую себя лишенным всего,
ни в чем более не нуждаясь.

Осознания этого
более чем достаточно для того,
чтобы дать себе труд усвоить,
что подобные умственные отвлечения
заодно с темнотой и тогда,
когда после долгого зимнего заточения
я выхожу, как старик, погреться

в бодрящих лучах весеннего солнца,
приводящих меня в фантастическую связь
с чем-то вроде
...листьев люпина,
цветов подсолнуха.

Pharmacop

1

Томное,
прилежанием умаянное,
летание бабочки-многоцветницы
предвещает дождь.
Тончайшие крылья ее,
испещренные сетью жилок,
эти непомерно увеличенные, по мнению многих анатомов,
расширения кожи вокруг дыхательных отверстий,
с трудом рассекают тяжелый,
насыщенный дрожащими испарениями,
перламутровый воздух
...и вот-вот превратятся в жабры.
Зобатый голубь
выдает определительный признак свой
за плавательный пузырь.
Крыло стрижа – если еще не плавник, то уже не парус.
Об осеннем нашествии килегрудых
можно не говорить.

Стремительный,
почти до кессонной болезни, барический перепад –
и черепная коробка не более чем подобие анероида:
зрачок расширяется,
и обрамляющая его радужная оболочка
из голубой становится серебристой –
как у рыбы.
Послушать анатомов,
так нет ничего проще и понятнее:
водянистая влага глаза
совершенно, говорят, бесструктурна.
Но и она наворачивается на глаза
растущей водорослью слезы.

2

Лишь много позже
я действительно понял:
сначала воздухом дышат,
а потом его пьют.

Тогда ты уже не поднималась с постели.
И не ела ничего, кроме двух-трех ложечек
какой-нибудь кашицы ...дольки мандарина
...нескольких гранатовых зернышек.
Время от времени
ты еще проглатывала немного воды.
А потом, погрузившись в беспмятство, ты спала.
В последующие дни мы лишь прислушивались
к твоему дыханию.
Но перед тем...
Перед тем, как сделать
последний вдох, ты открыла глаза.
Тогда-то я и увидел, как умирают люди:
как если бы захлебнувшись небом.

«...Почувствуй!» –
слышу я до сих пор твой голос.
Нет – пью! как целительное изречение,
растворив его снова в воздухе.
Драгоценное снадобье,
без которого весь этот платоновский *pharmakon*,
обрекающий на застывшую угрюмость хорошей погоды,
оставался бы просто пойлом,
аспидно-лазурным зельем.

«...Почувствуй!» –
вновь окликаешь ты, показывая куда-то
в головокружительную высь.

3

Это был один из не омраченных
печалью дней, безмятежных,
освещенных лучистообразными листьями
редкого для меня в те годы
каникулярного солнца.

Отозвавшись,
я вышел во двор.

Небо с юго-запада,
почти до зенита, охваченное стихией
внезапно налетевшего гигантского вихря,
затягивалось удивительной
иссера-розовой пеленой.

Не то чтобы
феерическая воздушная картина
надвигающейся грозы, не то чтобы она, вспоминаю я,
была написана слишком жидкими,

слишком текучими красками...
Это была почти другая субстанция.

Но не воздух.

Для нас, если угодно, –
обратная сторона воздуха.

Густой ароматный настой которого,
казалось, вмещал в себя
растительную экзотическую фармакопею
всех вместе взятых островов Средиземноморья:
буквицу Эскулапа, вербену кентавра Хирона,
шалфейно-тимьянные запахи, приправленные
камедью длинноиглистых пиний...
чтобы – еще мгновение? – и пролиться –
как знать? – сцедившейся каплей цикадового,
настоянного на полынных травах, вина?..
вязкого меда с пыльцой?..

...Сбивая с толку
органы чувств, сместив все пороги
чувствительности...

Ибо я бессознательно ощутил,
как то, что должно якобы составлять
принадлежность обоняния,
...хлынуло прямо внутрь.